



Александр Иванович Неклесса – председатель Комиссии по социальным и культурным проблемам глобализации, член бюро Научного совета «История мировой культуры» при Президиуме РАН, заместитель генерального директора Института экономических стратегий, директор Центра геоэкономических исследований (Лаборатория «Север–Юг») Института Африки РАН

Северная Ромея

Несмотря на присутствие в настоящем тексте исторических, теологических и – в меньшей степени – философских аллюзий, его доминанта все же культурологическая и в некоторой степени – методологическая. Содержательная же часть сводится к размышлениям о некоторых аспектах византийского воздействия на русскую культуру – воздействия, повлиявшего на генезис российской идентичности. Отдельный рассматриваемый здесь вопрос – в каких формах культурное наследие Второго Рима может быть интересным современному миру, в частности, «негативная рациональность» и ее методологические производные.

Странствующая империя

Символизм блуждающего по планете Вечного Города – отражение тяги людей и сообществ, придерживающихся различных взглядов, к цивилизованному обустройству земной

жизни. Слабо различимый в сумраке европейской истории гамбит сюжета запечатлен, возможно, в «Илиаде» и «Одиссее», эндшпиль – в моделях Глобального Града.

История Рима являет нам три лика – языческий, христианский, исламский. Она объединяет различные народы, общности, континенты – Европу, Азию, Африку. Охватив едва ли не три тысячелетия человеческой хронологии, эта история отмечает своими метаморфозами эпохи Античности, Средневековья, Нового времени.

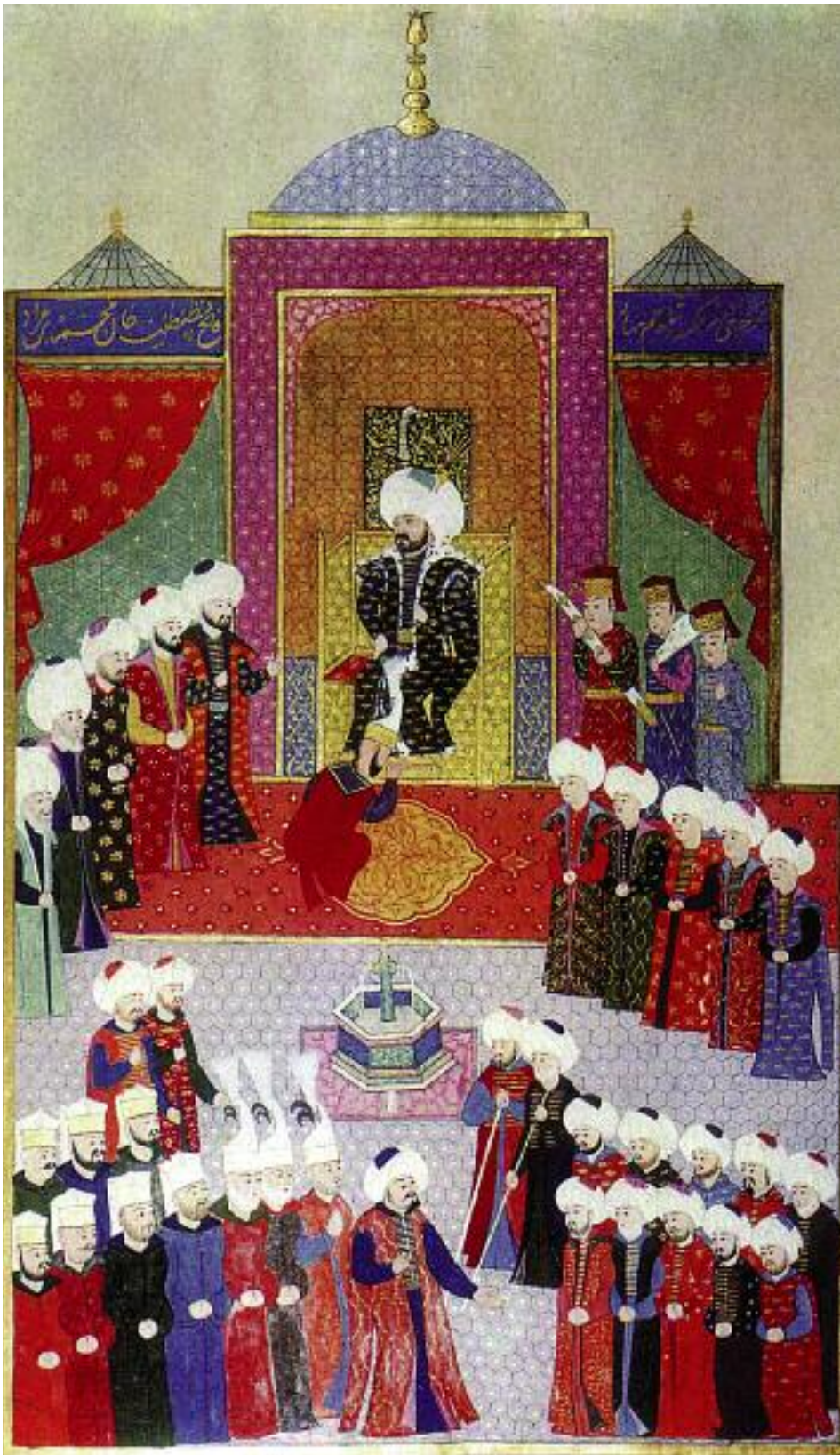
Странствующая во времени и по планете полития – это также универсальный эскиз глобальной цивилизации: государственность, обосновавшая вектор всемирной летописи народов. Полиэтничность, людское многоголосие – ее родовой признак, явивший миру феномен политической интеграции – империи, прочитываемой каждый раз по-новому, – с изменением смыслов и смещением

При Юстиниане наметился контур трансконтинентального гиганта, опоясывавшего своей телесностью прибрежные земли Средиземноморья.



Диптих Барберини. Юстиниан. Первая половина VI века

Восшествие на престол Мехмеда II в Эдирне в 1451 году. Миниатюра из «Хюнернаме» («Книги совершенства»). 1523



Османские султаны – властители по-прежнему полиэтничной и трансконтинентальной (все так же расположенной на трех континентах) государственности, – считая себя законными преемниками римской государственности, приняли символическое бремя римской власти – титул римского кесаря – и носили его вплоть до окончания Первой мировой войны.

акцентов. Очерчивая пределы актуальной Ойкумены, Рим порождал массу реплик и подражаний. Самим форматом цивилизованности человечество обязано римской государственности, ее принципам и категориям (республика, сенат, империй, магистратура, юриспруденция и т.д.).

Свержение царя-тирана – Тарквиния Гордого – стало фундаментом просуществовавшей приблизительно полтысячелетия Римской республики со своими юридическими концептами и политическими механизмами, затруднявшими появление узурпаторов и проявлявшимися главным образом в принципе республиканского правления. Например, в наличии двух избираемых на определенный срок консулов – так постулировалась сменяемость и коллегиальность высшей магистратуры, власть которой уравнивалась аристократическим сенатом, плебейским трибуналом (с правом вето на решения консулов), народными собраниями, а также коллегиальной магистратурой цензоров, надзиравших за государственным хозяйством, гражданским цензом (сословной принадлежностью) и всем корпусом должностных лиц. Были к тому же формализованы ситуации, когда та или иная серьезная угроза республике все-таки требовала единовластия и предоставления особых полномочий, то есть введения диктатуры – института, при котором разделение власти приостанавливалось. Либо возникала необходимость временного упрощения намеренно усложненной системы командования войсками или реализации режима чрезвычайного положения в провинции. Для подобных исключительных обстоятельств существовали юридические регламенты, позволявшие управ-

лять бурными событиями законным образом, устанавливая при этом ряд привилегий/ограничений по срокам и пространству действия специальных форм правления (кризисных процедур). Кроме того предусматривались легальные процедуры привлечения к ответственности носителей высшей власти.

Последующая история Рима — история принципата, домината, разделения на Запад и Восток. И погружения западной полусферы в эклектику Темных веков с попытками восстановить, отстроить собственную версию Римского мира, начиная с франкской империи Карла Великого — 68-го (после низложения Константина VI) римского императора, отчасти признанного Западом, но не признанного на Востоке. Сюжет был продолжен Римской империей, основанной Оттоном I, менявшей имена и политическую значимость (Священная Римская империя, Священная Римская империя германской нации), просуществовавшей в подвижных и мерцающих обликах до 1806 года. Параллельно с формированием национальных государств в Европе продолжали существовать такие осколки и вариации темы, как, например, Австро-Венгерская монархия. Категория «империя» постепенно приобретала метафорический характер, обозначая обширные континентальные государства — Вторую Германскую империю (1871–1918) и недоброй памяти несостоявшийся неофициальный Третий рейх. Можно припомнить Первую и Вторую французские империи — соответственно Наполеона I (1804–1814, 1815) и Наполеона III (1852–1870), — использовавшие политические и лексические аллюзии из арсенала римской истории. А также заморские конгломераты колониальных империй



Бенуццо Гоццолли. Процессия волхвов. Император Исанн VIII Палеолог в образе Бальтазара. 1459–1461

Римское наследие, сохраненное и преобразованное в христианской Византии, влияло на облик совокупной европейской цивилизации, изменяло ее.

во главе с Британской. Наконец, уже в наши дни — интегрируемую и интегрирующую внешнее окружение мозаичную конструкцию Европейского союза.

Примечательна судьба «Востока» — Второго Рима. Сколь различны между собой история этой римской метаморфозы с ее взлетами, перипетиями, катастрофами и стереотипные представления о ней как о неподвижной, инертной монолитной кон-

струкции.

Территориальный образ этого христианского Рима подвижен, однако он не просто менял размерность.

При Юстиниане наметился контур трансконтинентального гиганта, опоясывавшего своей телесностью прибрежные земли Средиземноморья: от Нового Рима — Константинополя — через Анатолию к рубежам Закавказья. Здесь, оттолкнувшись от приграничья, следовал разворот к



Именно в миссии содержания в чистоте религиозных заветов Русия заявлялась ортодоксальным (православным) Третьим Римом, где русские – не этнос, а ромеи, а Русское царство – царство Ромейское.

Антиохии и Святой земле. Оттуда через Египет, по кромке североафриканского побережья ромейская государственность устремлялась к югу Иберийского полуострова. Далее, пометив Корсику, Сардинию, Сицилию, охватив Италийский сапожок и захватив Иллирийские просторы, распространялась на Север: от Греции к Болгарии, а достигнув крымского побережья

Понта Эвксинского, прикасалась к землям далекой Тамани – баснословной Тмутаракани.

Но в какой-то момент даже центральные области Второго Рима напоминали разбитое зеркало, разлетевшись на множество продолжавших крошиться осколков, – Латинская империя и ее вассалы с вкраплениями венецианских и генуэзских анклавов, право-

славные державы, сельджукские, а затем османские территории. Некоторое время этот властный калейдоскоп точно находился на историческом распутье и походил на западноевропейскую чресполосицу, разве что с более выраженным конфессиональным разнообразием: Королевство Фессалоника, Ахейское княжество, герцогства Афинское и Наксос, Морея, Кандия, королевство Кипр, царства Болгария и Сербия, Эпирский деспотат, Великая Валахия, Никейская и Трапезундская империи, Киликийское царство, Иконийский султанат. Затем вновь, хотя далеко не в прежнем объеме, восстанавливалась относительная целостность Византии. Да и само последующее крушение империи, сжавшейся фактически до размеров территории Константинополя, манифестировало лабиринтообразный символизм, замкнув исторической метафорой орбиту перемещавшегося по планете Вечного Града.

Между тем жизненный цикл Ромеи – государства-феникса – на этом не закончился. Он продолжился в иной – исламской – ипостаси, удерживавшей, а в чем-то даже расширившей территориальные пропорции Восточного Рима. Османские султаны – властители по-прежнему полиэтничной и трансконтинентальной (все так же расположенной на трех континентах) государственности, – считая себя законными преемниками римской государственности, приняли, начиная с завоевателя Константинополя Мехмеда II, символическое бремя римской власти – титул римского кесаря – и носили его вплоть до окончания Первой мировой войны.

В XX веке возникали новые политические конструкты – сообщества наций, великой державы, суперсилы, бипо-

лярного мира, — навевая воспоминания и о вселенских амбициях отошедших в прошлое персонажей, и даже о былом противостоянии Рима и Карфагена... Ну, а ближе к нашим дням — в разговорах о глобализации, однополярном мире, *Pax Americana* — опять-таки слышны отзвуки темы римского могущества, виден отблеск его регалий и стигматов у страны, реализующей с вершины собственного Капитолийского холма свою версию универсального присутствия в нынешней географии Ойкумены. Речь между тем вновь заходит о переселении народов, кризисе однополюсной конструкции, приближении Нового Средневековья, о ветре эпохальных перемен, шелепящем страницами истории, знаменуя конец очередной ее главы и пришествие Нового мира.

Однако суть проблемы все-таки не в политической истории.

Особое место

Удивительна интенсивность духовной жизни Второго Рима: базары и арены, превращенные в места бурных дискуссий, где обсуждались не только новости повседневной практики, но с не меньшей страстностью — догматика и теологумены прописываемой в земной летописи христианской цивилизации.

Само догматическое и церковное здание христианства обустроивалось на созываемых императорами Вселенских и поместных соборах в ходе борьбы с ересями за православное единомыслие. Причем с ересями, порою преследуемыми как государственное преступление, а порою — представлявшими государственную политику. Многообразие духовного творчества дополнялось необычной для своего времени и обстоятельств социальной мобильностью, когда пелена родовитых кланов, по-



Колокол свободы. Филадельфия

В разговорах о глобализации, однополярном мире, *Pax Americana* слышны отзвуки темы римского могущества, виден отблеск его регалий и стигматов.

ставлявших кандидатов на императорский престол, прорывалась выходцами из социальных низов: кесарями становились солдат-наемник, бывший крестьянин, торговец-меняла...

Политическая жизнь Византии, несмотря на декларацию симфонии имперских и церковных властей, подчас прямо определяется как «абсолют-

ная власть, ограниченная легальным правом на революцию» (Жильбер Дагрон), то есть она отчасти унаследовала черты той специфической организации, которая сложилось еще во времена принцепата и была охарактеризована Теодором Моммзеном как «перманентная революция». Однако на излете империи реформируется прочтение хри-



В архетипическом подходе к дефиниции русской национальной идеи присутствует, конечно же, некая провокативность. Дело, пожалуй, вот в чем. В ходе рассуждений на тему Русской идеи самыми яркими являются идеологемы или мемы: Третий Рим, самодержавие—православие—народность, Третий Интернационал...

стианского политического текста — как общезития, сообщества, соборного тела. Мировоззрение это с привкусом хилиазма и обертонами «апокалипсиса Исаяи» уводит от подвижности «перманентной революции» к покою «отмирания государства», преобразуемого в «семью народа/народов» (пасификация по образцу «на земли мир, в челове-

цех благоволение»).

Тут возникает вероятность (а по сути, смертельная опасность) для христианской культуры смешения категорий «вечность» и «безвременье». Иначе говоря, искус простодушного или лукавого сближения с «азиатским» (деспотическим) идеалом неподвижности, обусловленным главным образом боязнью перемен, то

есть социальным эскапизмом. А это уже радикально отличает данное синхронистичное мировоззрение от христианского взгляда на превосходство вечности над временем как исполнение его полноты («времени больше не будет»). В том числе в результате человеческих усилий, определяемых как история (преодоление и разделение).

Но ощутимо также расхождение с западноевропейским политическим мировоззрением, формировавшимся в ходе городских революций и воплотившимся затем в формулу национального государства как пространства «непрерывного плебисцита». А еще с воследовавшей сменной восприятия/стратегии частной духовной жизни как личной мистерии (лестницы) на интенсивные усилия по верификации статуса спасения (предопределения) в категориях успеха, причем чаще понимаемого как успех житейский.

Социокультурная динамика Второго Рима, кажется, прервалась накануне возможного системного преобразования: в предрассветной дымке чудились невидимые миру, но улавливаемые внутренним оком контуры иного сообщества. «Возрождение Палеологов» сопровождалось расцветом концептуального творчества, чреватым богословским осмыслением не только синергии, но и ее культурных следствий, предвкушением трансформации, если не трансмутации, религиозных и политических институций. Процесс, надо сказать, в чем-то синхронный западноевропейскому транзиту, но отличный по внутренним основаниям.

Трагедия восточнохристианской цивилизации, возможно, была предопределена изначально сложностью, нелинейностью избранной куль-



Вячеслав Шварц. Верное воскресенье в Москве при царе Алексее Михайловиче. Шествие патриарха на ослиати. 1865

турной траектории, парадоксом, заложенным в ее политическое тело и связанным с императивом осмысления в православном социальном тексте института императорской власти. Другими словами, икономической, по сути, идеей плотного сосуществования земного царства и горней общности, пребывающей в искаженных грехом земных пределах.

Идеал симфонии властей предполагает жертвенное (подвижническое) напряжение властителей, практику каждодневного преодоления конфликта страстей. Иначе говоря, ситуацию перманентно отодвигаемого кризиса, трансгрессии, чреватой в момент той или иной слабости молниеносным развитием катастрофы... Из этого источника, кстати, проистекает чин венчания на царство как укрепляющего сакрального действия с элементами особого таинства — увенчанного мона(р)шества, фиксирующего жертвенный подвиг отказа от обычной земной жизни, деятельного «бытия для других»: своего рода незримого белого мученичества в миру и «в самом своем естестве». В отличие, скажем, от интронизации

Трагедия восточнохристианской цивилизации была предопределена парадоксом, заложенным в ее политическое тело, — идеей сосуществования земного царства и горней общности, пребывающей в искаженных грехом земных пределах.

или тем более республиканской инаугурации — ритуала принесения присяги сенью (народу), то есть версии оммажа.

В общем же и целом, римское наследие, сохраненное и преобразованное в христианской Византии, влияло на облик совокупной европейской цивилизации, изменяло ее. Пробуждая, к примеру, вибрации Ренессанса, одним из источников коего был поток идей и людей, манускриптов и произведений искусства, исходивший из Нового Рима, особенно после захвата его крестоносцами в начале XIII века. А специфическое наследие римской цивилизации — республиканское законодательство, свод римского права, транслированный в сумятицу европейской городской революции (в виде дигест Юстиниана), — судя по всему, отчасти воздействовал на взгляды и действия, приведшие к генезису республиканской государственности Нового времени начиная с революции Со-

единенных провинций.

Но лишь один наследник Второго Рима совершил исторический зигзаг, отвергнув прямое наследование исторического имущества, однако же приняв его крестное содержание.

Россия на своем пути сталкивалась со многими искушениями. Далеко не все ей удавалось преодолевать с честью. И не во всем. Сильнейшими соблазнами оказались социальное и политическое имущество двух величайших земных империй — Римской и Ордынской.

Россия утверждалась в истории одновременно как христианское государство и как восточное царство. Однако в своем глубинном естестве она не Азия и не Европа, равно как не Евразия и не Азиопа. Московское царство мыслилось своими смиренными и горделивыми идеологами, строителями и метафизиками как особое место, средоточие «остатка» — остров верных, сберегающих истину в мире,

заливаемом водами нового по-топа. Спасительной и спасаемой общностью, избранным народом...

Речь шла о принятии на себя Московской роли хранительницы христианской Ойкумены — вселенского православного царства, где «несть ни эллина, ни иудея» и где «Господь в римскую власть написася». Так что разговор, в сущности, шел не о политическом предмете и тем более не о бранных национальных претензиях или государственных оболочках. Именно в миссии содержания в чистоте религиозных заветов Русия заявлялась ортодоксальным (православным) Третьим Римом, где русские — не этнос, а ромеи, а Русское царство — царство Ромейское. Так, кстати, подчас в документах и писалось.

Культурно-исторические инстинкты и интерпретации российской этнелегии (своеобразный «русский габитус») проявлялись в собирании разноплеменных народов, в прозелитических, культуртрегерских амбициях, в освоении и присвоении мозаичных восточных и южных пространств как «ареалов окормления». Параллельно происходило усвоение опыта, умений сопредельных народов, включая с какого-то момента обширное ордынское наследие: процесс отчасти напоминал взаимную культурную проницаемость Запада и Востока в эпоху Крестовых походов.

В архетипическом подходе к дефиниции русской национальной идеи присутствует, конечно же, некая провокативность. Дело, пожалуй, вот в чем. В ходе обсуждений и рассуждений на тему Русской идеи то и дело сталкиваешься с реестром концепций идеологического извода. Самыми яркими являются идеологемы или, как сейчас сказали бы, «мемы»: Третий Рим, само-

державие—православие—народность, Третий Интернационал... Список легко и расширить, и продолжить.

Тут, наверное, уместно еще одно предварительное замечание. Любопытна вероятность присутствия в сюжете некоей конспирологической интриги — внедрения социокультурного гена — идеи Третьего Рима — и европейскими персонажами, и северо-западными обитателями Руси как средства удержания восточной, порою уж слишком восточной в географии и политике того времени, Московии от искушения принятия в культурно-политической полноте наследия распавшейся приблизительно в тот же период другой вселенской империи — Ордынской. На каком же фундаменте возводилось здание государства Российского, впитавшего не только ордынские токи, но воспринявшего также мощный культурно-государственный импульс от Второго Рима?

Наследие это, вопреки расхожим схемам, воспринято было парадоксальным образом. Не в качестве собственно византийских цивилизационно-государственных активов, а, скорее, как попытка очищения от исторической коррозии своеобразного «символического капитала» того времени — идеи подвижного политически сформулированного сообщества с особым мировоззрением и мироустроительным замыслом, ощущением уникальности миссии сохранения если не плода, то цветка ромейской духовности. Того цветка, который, несмотря на окружавшие нестроения, произрастал и благоухал именно в последние века Второй Римской империи.

Не успевшие укорениться ростки и непростые семена культурного, социального пробуждения были рассеяны по миру и отчасти перенесены

на другую почву. Они попали в ареал промышленного, но еще не реализованного, пребывавшего в становлении, лишь начинавшего постигать опыт суверенно-государственного домостроительства православного царства, состояние обретаемых земель которого было осложнено долговременным властным присутствием иной «имперской» традиции — ордынской.

Подобное синкопирование исторической последовательности вело к парадоксальному результату — сродни кесареву сечению или преждевременным родам...

Указанное обстоятельство — контрапункт, отягощенный к тому же географической фронтальностью России и ее пространственной экспансией (земной перенасыщенностью), — отнимало энергии от последовательного институционального, социального, культурного обустройства охваченных тонким покровом территорий. Раз за разом оно обозначалось, воспроизводилось в коллизиях между незавершенной (несовершенной) административной оболочкой (государством) и разноязычным культурным сообществом (населением), пребывавшим в различных цивилизационных состояниях и склонным к той или иной версии иноверия, двоеверия, что само по себе разделяло потенциально единый народ на разнившиеся, порой открыто конфликтующие сегменты.

Орехи вынужденно проступали и в скорописи социального текста. К примеру, сословное неравенство не сглаживалось в историческом потоке, в отличие от институционализации, обустройства и расширения состава гражданского общества в ходе европейских городских революций. Напротив, время от времени оно прорывало цивилизационную пелену уродливой кристалли-



Станислав Хлебников. Ассамблея при Петре I. 1858

зацией тех или иных как бы «временных обстоятельств», усугублялось и обострялось, доводя в какой-то момент положение значительной части населения буквально до рабского состояния — легальной торговли соплеменниками и единоверцами.

В этих условиях «устроителям места сего» во многом приходилось полагаться на российскую версию своеобразной «золотой легенды».

С наследием византийским, надо сказать, сложилась непростая ситуация. В обществе до сих пор господствует стереотип именно о социально-политическом преемстве Руси от Византии — преемстве, выраженном, к примеру, в представлениях о «шапке Мономаха», «двуглавом гербе» или в поздних толкованиях тезиса о Третьем Риме. Связь, действительно, существует, равно как наследие и преемственность, только вот в каком смысле?

Если обратиться к документам и событиям эпохи XV–XVI

Не только политическая и экономическая реальность, но горизонты и содержание культурной политики привычно формируются в России не обществом, а государством. Гражданский прогресс и гуманизация среды оставались и остаются социокультурной задачей России и политическим императивом.

веков, то выясняется: дело обстояло подчас едва ли не противоположным по отношению к поздним прочтениям образом. И формула Третьего Рима изначально осознавалась, скорее, как опровержение падшей Византии, отрясение ее праха, нежели как ощущение кровного родства и наследования... Однако обретение православного апофатического богословия, развивавшегося в Византии, познание мира удивительных энергий, постигавшихся и пестовавшихся в основном в исихастском кругу, а на русских просторах — нестяжателями, заволжскими старцами, каким-то образом — с изменениями, угасаниями, провалами вплоть до трагического надлома — было все же унаследовано Рос-

сией. И унаследовано во многом в сфере практики, а не богословия. Богословия как такового в России, пожалуй, и не сложилось, а вот практика, «практическое богословие» — сложились.

В целом же обозначившееся вскоре после падения Второго Рима Русское царство, обретя со временем собственный формат имперской государственности, аккумулировав при этом претензии на реконструкцию вселенского миропорядка и нащупав стержень оригинального замысла, напоминало в тот период сжатую пружину. В течение весьма короткого исторического срока энергия преобразований сказалась не только на размерности и статусе страны, но также на самосознании

народа. Эта повышающаяся энергетика ввела в мировой контекст деятельного персонажа, который с тех пор при многочисленных исторических пертурбациях вплоть до последнего времени не покидал историческую сцену.

Обаяние неведомого

Апофатичность, прочитанная и воспринятая как особый культурный импульс (то есть преимущественно косвенным образом), произвела ряд отличных от источника и от западноевропейских версий христианской культуры производных. Созвучных, однако, психологическому складу русских очарованных странни-

многочисленные внешние проявления. Она намекает именно на тип национальной идентичности — имманентное ощущение соприсутствия трансцендентального замысла, на подсознательную внутреннюю картографию и нелинейную умственную геометрию, связанные в свою очередь с особенностями миропонимания, с самоощущением личностью и народом судьбы как миссии, наполненной дерзновенным содержанием.

Искаженное, неверное, подчас прямо извращенное, горделивое прочтение тезиса отзывалось в земной истории страны и народа тяжкими, катастрофическими потрясениями. Но

ние как опознание истины вообще невозможно, опасно и даже предосудительно: подобное действие ведет в лабиринт, из которого нет выхода. Или же во ад пустыни тесного одиночества.

Апофатический подход к миростроительству — практике земного бытия — есть самотворение и само-отворение (а подчас — искусительное/искупительное самосожигание). К тому же это, скорее, испытание мира с целью познания истины, нежели его перестройка.

Схожим по целеполаганию, но не стратегии образом катафатическое мировоззрение по-своему акцентирует, проблематизирует онтологичность любви, творчества и свободы. Плоды же богопознания принадлежат всем.

Чувство становящейся едва ли не обыденной за-предельности (в том числе, в страдании), насыщаемой сгущающимися, но зачастую остающимися незримыми токами жизни, отражается в социальной и политической практиках. В их внутренней экстаичности, экстремальности. Порою — свирепости. Экстремальности, которая имеет как интроспективную, так и мобилизационную составляющую, требуя в том и другом случаях крайнего напряжения духа, формируя привычку к непрестанному усилию, сверхусилию. И в то же время обладает странной при взгляде извне прозаичностью, будничностью, обращаемой подчас властью в прямую эксплуатацию способности народа к предельной мобилизации. Апофатика — дорога, где очарованного странника подстерегает множество искажений. Это путь ошибок и катастроф. Действительно, с утратой оснований, неудержанием главного терпение, к примеру, может переродиться в тривиальную, а то и просто тупую по-

Кризис взаимоотношений с возрастающей сложностью технических, биологических, социальных, антропологических систем предполагает либо отсроченный коллапс управления/контроля, либо прорыв к радикально иным принципам познания и действия.

ков-первопроходцев, купцов и монахов, разбойников и воевод, обитавших — вспомним об этом обстоятельстве — на краю лишь частично познанной земли-Ойкумены.

Попробуем воспроизвести, хотя бы списочно, качества подобного самоощущения и самостояния: запредельность, экстремальность, безымянность, неформальность (небрежение формой), неряшливость, неприхотливость, инаковость, мечтательность, утопизм, юродство, буйность, разгильдяйство, подвижничество, продвижение, освоение, мобилизация, эсхатологичность... И даже «перестройка» в каком-то неявном виде присутствует в приведенном ряду, в том числе в залоге катастрофичности. И все вместе взятое входит в некую русскую социологию развития. Каким образом? Одним словом, конечно, не ответить. Но можно пытаться. Подобная запредельность и экстремальность психеи имеет не только

как Иона не смог отказаться от предъявленной ему миссии, так и для отказа от исторического промысла, от собственной идентичности требуется, видимо, совершенно особое сверхусилие, не сулящее, однако же, ничего хорошего.

Апофатическое богопознание предполагает испытания на грани предельности. Оно, собственно говоря, и основано на перманентном обитании в подобном статусе, на решительном, но умном шаге за очерченную привычным бытием границу.

Апофатическое мировосприятие активизирует неочевидные, «темные», глубинные свойства любви как высшей ценности и реальности, предполагающей в качестве земного проявления — в условиях перманентно проявляющихся несовершенств мира — жертву. И муку, связанную с протяженным во времени ее принесением, — то есть кровоточивость во плоти и непрерывное терпение. Без любви апофатическое миропозна-

корность, причем чрезмерную. Героизм же как воля и способность жертвенно (что практически неизбежно, ибо попытки преодоления дурного естества, внутреннего и внешнего, отзываются и сопровождаются яростным сопротивлением) противостоять неблагоприятному развитию событий трансформируется в специфический характер, своеобразный «национальную ресурс» — способность к длительному напряжению сил, запредельную терпеливость, слишком часто хищнически используемую властителями.

То есть особенности жертвенно-героического мировосприятия/поведения не столь уж редко проявляются как внешняя пассивность по отношению к земному устройству. И без способности к самостоянию, перманентному укреплению личности, постоянному горению, неуступчивости «до самых до смерти» попыткам коррупции (искушениям), лукавству прагматичной конвертации наличных даров открывают возможности для деспотизма и беспредельной тирании.

Между тем есть у русской психеи даже более глубокий пласт (но данное свойство отметим лишь на полях, не углубляясь в его жгучее содержание) — безудержная устремленность к идеалу. Тяга совершенно особого рода: перфекционизм, заставляющий разрушать и отчасти презирать земное устройство как несовершенные копии недостижимого идеала. Отсюда и особое прочтение творчества как искусства сокрушения несовершенств.

На краю Ойкумены

Корни мобилизационности как феномена могут быть различными, так же различаются и облики развития, но мы способны отличать цивилизации

по родовым меткам их динамических, социальных производных. Идея глобального Рима — претензия на всемирное обустройство, унаследованная от Рима Первого и Второго, — оказалась необычайно близкой народу-первопроходцу, обитателю «темных земель». И не покидала с тех пор его мятущуюся душу.

В сущности, на протяжении некоторого периода на планете состязались две ветви цивилизации, несущей в своем естестве динамическую производную.

Это европейская цивилизация, которая, помимо англосаксонской империи, «где не заходило солнце», произвела на свет собственную версию вселенского мира — эпоху Нового времени, породив попутно энергичное сообщество «объединенных государств» («штатов»), выстроивших под сенью «града на холме» фундамент и само здание глобализации.

И не столь внятные, синкопированные, однако не менее дерзновенные, футуристичные эскизы Руси-России, которая воплощала географическую/идеологическую разведку боем, грезя всемирными и надмирными миражами. Не слишком отдаваясь при этом от материнских (континентальных) пространств, хотя и продуцируя фрагменты трансграничной, планетарной, универсальной экспансии. Перемещались народы, соединялись окраины, *у-краины*, пределы: православные казачьи запорожские и кубанские земли, донские и терские станицы. Это также дух и быт переселенцев и поселенцев Урала и Поморья, энтузиастов Беловодья и соратников Ермака, яицких, амурских, дальневосточных первопроходцев, шаг за шагом раздвигавших пространство познанной Ойкумены, заселявших и обустривавших речные, степные, горные рубежи. И еще ушедшие

от мира, скрывшиеся в неизведанных до поры «кромешных» землях монахи и старообрядцы... Каждый раз по своему они укрупняли, творили очертания страны под стать пропорциям и смещаемым границам мятущегося духа.

Россия, таким образом, — архипелаг разнообразных форм заселения безбрежного сухопутного океана Северной Евразии. Это «потокосная социальность», разъединенная обширнейшими пространствами, симбиоз разбойной вольницы и мало в чем ограниченного произволения местных администраций. Саморазвитие общества в таких условиях в значительной мере сдерживалось лоскутным, экстенсивным характером социальных коммуникаций, отдавая приоритет административной скорлупе централизованного аппарата, что сказывалось на профессиональной, языковой, историко-мифологической связности, одновременно порождая и закрепляя мистифицированные, декоративные, уязвимые стереотипы в общекультурных клише, стимулируя унификацию, но одновременно провоцируя периодическую неоархаизацию населения.

Ситуация осложнилась дополнительным расщеплением народа. Инициатива просвещенного общества, лишенного прочных оснований в этой специфической материальной культуре (где отсутствует, в частности, полноценная городская среда, столь необходимая для развития личности, и затруднено функционирование институтов деятельной самоорганизации), с какого-то момента основательно расходится как с народной культурой, так и с идеологическими/политическими скрепами государственного обустройства («лишние люди»). А затем становится конфликтной, критичной, оппозиционной

Ветхозаветная Троица. Икона XV века



Человек в обстоятельствах принятия сложных, критических решений верно избирает и успешно преследует цели, если при этом он непрерывно беседует с Богом.

по отношению и к безликой стихии масс, и к формам бытия тучного Левиафана.

Но тотальность российской власти («до всего ей есть дело») — не только пресловутые обручи, сдерживавшие центробежные энергии территориального гиганта. В своей патерналистской ипостаси это еще парадоксальный субститут гражданского общества в его домостроительном аспекте. Не только политическая/экономическая реальность, но горизонты и содержание культурной политики привычно формируются здесь не обществом, а государством. Из-за подобного своеобразия гражданский прогресс и гуманизация среды обитания оставались и остаются социокультурной задачей России, а также ее политическим императивом. Альтернатива подобному маршруту — истощение пассионарности, девальвация этоса и дальнейшая архаизация ментальности.

Неклассический оператор

Мы живем в мире, степень неопределенности которого быстро повышается. В конце XX века глобальный театр операций, резкое возрастание рисков предопределили необходимость серьезного обновления методологии познания и действия, пересмотра процедур принятия/реализации решений.

По мере умножения проблем, сокращения времени на их осмысление и реагирование возрастают нагрузки на интеллект, психику, физиологию. Человек — органичная часть управленческой системы, но исполняя ту или иную функцию, он инструментален. Подобная его «объектность» способствовала обезличиванию: долгое время люди подвергались своего рода индустриализации. Однако человек, будучи по природе не объектом, а субъектом, причем весьма сложным, спо-

собен к операциям нестандартного свойства. Подчас неожиданным и эффективным. Он, в частности, обладает способностью принимать решения на основе несовершенных, заведомо неполных данных. Мысля и действуя длительное время в соответствии с постулатами линейной логики, в рамках механистичной модели реальности (корни чего уходят к эпохе Просвещения и глубже — к древнегреческим истокам, аристотелизму), мы привычно недооцениваем потенциальные возможности собственного естества. Нынешние критические обстоятельства требуют наличия или же выявляют отсутствие у субъекта уникальных личных ресурсов. Либо в качестве социальной альтернативы — эффективной методологии, пригодной для использования в условиях неопределенности. Возрастает роль креативности, способности *ad hoc* опознавать и постигать смысловую скорпись нестандартных ситуаций, поддерживать устойчивый, активный творческий статус. Анализируя позитивные/негативные обстоятельства

умножающихся комплексных коллизий, мы не только обретаем особый, недоступный ранее опыт, но делаем выводы, меняющие всю систему принятия решений. Со времени мировых войн развитие методологии эффективного управления объектами, субъектами, событиями пережило несколько мутаций – исследование операций, системный анализ, системная динамика, поведение высокоадаптивных самоорганизующихся систем... Однако в настоящий момент мы, по-видимому, находимся на пороге еще более значительного транзита.

В XX веке произошло не просто резкое усложнение характера операций. Постепенно доминантным объектом внимания становится не столько состояние настоящего либо будущего (отложенное целеполагание), сколько сам по себе процесс как практика перемен. В свою очередь необходимость иметь дело с динамичными, нелинейными, многофакторными процессами, протекающими порой на грани турбулентности и хаотизации, предопределила поиск регламентов и соответствующего инструментария «новой рациональности», приспособленных к анализу поведения сверхсложных организованностей и, главное, к эффективно-му воздействию на него. А также неизбежно повлекла кардинальную переоценку роли антропологического фактора.

Человек перестает быть инструментальным элементом системы, ее объектом, функцией, агентом. Его сознание, мировосприятие, способы взаимодействия с природой, окружением переживают серьезную перестройку. И по мере умножения проблем, расширения круга объектов взаимодействия открываются все новые обстоятельства. Выясняется, к примеру, что, как и в естественных науках, само при-

сутствие оператора в социальном космосе, его намерения нестандартным образом влияют на событийный ряд (феномен «неклассического оператора»). Субстанция бытия, ее состояния связаны с субъектом теснее, нежели представлялось. Действовать «правильно» или «неправильно», причем не только с точки зрения психологии или морали, но также с позиции, которую можно определить как «метафизическая», оказывается, помимо прочего, серьезной практической проблемой. Взаимодействуя с более высокими регистрами сложности, различным образом постигая и формулируя статус постсекулярности, мы все чаще ощущаем соприсутствие сил, законов, которые до конца не понимаем, однако же пытаемся осмыслить. И будучи практиками, используем. Подобный подход предполагает персонализм, конкретность, а также неотчуждаемость экспертизы (знания) от субъекта и даже метафизических обстоятельств.

Какое отношение обозначенная проблематика имеет к обсуждаемой теме? Думается, что прямое.

Кризис взаимоотношений с возрастающей сложностью технических, биологических, социальных, антропологических систем предполагает либо отсроченный коллапс управления/контроля, либо прорыв к радикально иным принципам познания и действия. Уникальность возникающих ситуаций, их каскадная новизна, высокий уровень критичности, нелинейность, подвижный, изменчивый характер, диссипация требуют не просто пересмотра эпистемологического тезауруса, ревизии привычных алгоритмов и методов действия, но радикального изменения самого способа освоения калейдоскопичного универсума. Дело

в том, что существующий категориальный аппарат и привычные методы конвергенции обретаемого знания подчас оказывают дурную услугу в опознании расширяющегося контура реальности. Кроме того, они все чаще используются, если можно так выразиться, «метафорически». Особенно заметны подобные изъяны в сфере социальных и гуманитарных дисциплин.

Происходящая девальвация категориального аппарата повышает значение и возможности негативной диалектики. Плодотворным направлением методологической революции представляется синергический подход к миропознанию, миростроительству и пространству операций. Речь, похоже, идет о фундаментальном развороте в умственной практике от катафатических установок к апофатическим. И далеко не в последнюю очередь – об углубленном, диверсифицированном осмыслении самого апофатического мировосприятия, рецептов и техник, которые развивались преимущественно в Византии, особенно в среде исихастов. Культура невербального постижения предполагает усилия и комплексные процедуры по удержанию неопределенности в целостности и полноте, то есть способность к внекатегориальному мышлению, ориентацию в беспорядочных структурах, практику взаимоотношений с иным и т.д. То есть в постсовременном ментальном и практическом обороте востребован специфический опыт взаимодействия с формально неопознанными, телеологическими и теологическими измерениями бытия... Другими словами, выясняется, что человек в обстоятельствах принятия сложных, критических решений верно избирает и успешно преследует цели, если при этом он непрерывно беседует с Богом. ☪